Абрикоса.

Во дворе никто никогда не помнил, когда и кем была брошена косточка, но из-под фундамента довоенной кухни пророс её несмелый росток. Тогда (ещё парень) дед срубил этот росток, определив, что ему здесь не место. Но на следующий год она выдала четыре рукава, и все во дворе решили: пусть сидит для тени. Теперь она была ровесницей деду. Как старая добрая баба, она простирала свои четыре огромных ствола, раскидывая во все стороны своих детей. Это были ветви, которые зеленым плащом укрывали чуть не треть двора. Они, груженые природным даром, гнулись, ждали, когда их освободят от этой тяжелой природной ноши. И дерево, как добрая плодовитая мать, ждала, когда придёт это великое разрешение - освобождение от великого природного бремени. Под тяжестью, склоняясь до самой земли, они истошно стонали от невиданного в этом году урожая. Дед, оглядывая эту оранжевую массу: тысячу внуков, внутри восхищался, а в то же время настороженно оглядывал это оранжевое чудо, думал: «А справлюсь ли я?» И тут же себя успокаивал: «Всё в наших руках, не дам пропасть товару!». С первой шлёпнувшейся об асфальт абрикосой все дворовые сказали: «Ну, началось!» - как-то осуждающе, предвидя какие-то хлопоты и неудобства, почти на две недели. Но дед подумал: «Ну, началось, теперь держись!». Он понимал, что кроме него, никто во дворе не прикоснется к плодам, и ему придется принимать эти великие природные роды. Он поднял этот первый плод, поднёс к губам, понюхал, ощутив аромат, поднёс к солнцу, увидел лёгкое опушение на боку, разрез, как у попки младенца, загар, как на щечках блондинистой молодки, и лёгкий пушок, как у неё под носом. Со словами «Ну, началось!» - он вздохнул и съел плод, ощутив кисло-сладкий привкус.

Масляным, горячим чуть сжавшим скулы соком наполнился его полу беззубый рот, оставаясь во всём неизменным. Дед вынул косточку, определив, что кожица тоже полностью съедается.

«Ох, и сушки будут славные, лишь бы солнца достало!». А солнца в этом году было больше, чем моря. Почти бесцветное небо было залито этим

золотом. Жара стояла с утра, одним словом, вершина лета — Петровка. Собирай, суши только не ленись. И дед не ленился. С утра он вставал первым, оглядывая оранжевые сугробы вокруг дерева, и принимался собирать. Он кряхтел, колени хрустели, спина не гнулась, но дед скрупулёзно, плод за плодом, ласково наполнял всё, что имелось во дворе из тары, проникая между цветами, виноградником, ища их под диваном, под столами. И так день и два, и три , и неделю. Этот абрикосовый град, казалось, не закончится, но по мере отхода плодов, дед замечал, что руки-ветви расправляются, постепенно освобождаясь от этой благородной ноши. Упавшим, на смену созревали новые. Дед с изумлением наблюдал, как дерево отдавало свой клад: постепенно, как будто зная, что сразу всё не переработать.

Молодые в это время жили со стариками. Во дворе главным был дед, с ним все считались. Был он высок ростом, тощ, чёрен, как старая обугленная солнцем и непогодой жердь, но в лёгкой походке и движениях возраста не замечалось. Скорее года выдавали глаза, выцветшие, с мудрой грустинкой, но под верхней усатой губой всегда хоронилась улыбочка. Внучка души в нём не чаяла, и ещё бы: он, вынянчивший её с пелёнок, сейчас ближе её никого не видел рядом. Молодые вили своё гнездо, им было не до старика. Вставшие дворовые находили его обставленного чашками с плодами. Он шутил: «Я весь в золоте! Гляньте, сколько добра!». «И охота тебе, старый, валандаться с этим?». Все это удивляло его. Как выросшие в этом дворе люди, всю жизнь пившие сок и компот с этого дерева, могут так пренебрежительно к этому относятся? В ответ, он весело отвечал: «Вот подохну, сами будете управляться!». «А мы её срубим!» - отвечали молодые. Дед парировал: «Вы сначала вырастите, а потом рубите, а я с того света посмотрю, как вы будете труд свой гробить!». И продолжал колоть. Грубые его пальцы бережно раскрывали плод, как шкатулочку, доставая клад-косточку, укладывая мясистые дольки на фанерки. Он что-то шептал, как будто разговаривал с каждым плодом, потом облизывал слипшиеся, как от мёда, нечистые пальцы. В этот момент ни тени неудовольствия не излучало его лицо, в усталой губе -

улыбка, в глазах умиротворенное спокойствие. Если глянуть со стороны - это была настоящая радость труда, не всеми познанная в этом мире. Порой подсаживалась и внучка. Она брала самую большую фанерку, дед подвигал чашку. Но молодушки на долго не хватало. То ли ей мешали мухи, то ли возраст, но дед не настаивал, отпускал гулять. Закрывая глаза, он видел своё детство, когда все дети в округе были чем-то заняты. Вот и мать с укоризной приказывала: «Пока всю не выколешь, на улицу - ни ногой!». И он терпеливо колол. Этому дереву он был обязан способностью думать, терпеливостью и позднее стойкостью и не прогнутостью ни перед чем. Так по крайней мере думал он. Его упертая усидчивость сыграла добрую роль в его жизни. Вот и сейчас одурманенный зноем, одиночеством и мухами, он обернулся, открывая сонные глаза. Сзади сидит пацан в одних чёрных трусах и транспортерных чувяках, колет плоды. Он ли это? Казалось, что вся жизнь его прошла под этим деревом, сколько она мыслей его взяла, сколько песен, стихов. Порой он её корил, что навязывалась с работой, но потом, остыв, не мог представить двора без неё. Была она им ухожена, как хорошая добрая жена: лишние сучья заботливо обрезаны на кольцо, ни капли камеди не было на её стволах, этих её слёз, он не допускал, впрочем, и слёз своей настоящей жены.

Ему было спокойно работать в будние дни. Молодые уходили на работу, старуха валялась в хате, и он мог часами спокойно колоть в тени дерева. Он мог спокойно думать под ласковые шлепки падающих плодов. Даже обжигающие всполохи зноя и надоедливые мухи не могли оторвать его от дела.

В выходные было хуже. Все шпыняли деда, за то, что расселся здесь. А опавшие плоды пинали ногами, давили их, ворчали. Дед перебирался в безопасное место, ласково совком и веником подчищал раздавленные плоды. Он наставлял молодых: «Эх, поросята неразумные, а в каждом плоде великое чудо! Был цветок, потом зелень, потом плод. Ешьте, всё для вас! Неужели дерево жило даром, а даром в природе ничего не происходит!». Но все его не слушали, лишь трунили: «Если бы продать, а так чего без толку возиться.

Делать тебе нечего!». Дед осуждающе крякал, оглядывая птенцов, как старый ворон. «Погодите, зима придет!». И зима приходила. В тёплой хате бабка щедрой рукой наполняла чашку янтарными сушками, заливала кипятком. Всё заполнял аромат распаренных сушек, и дед, закрывая глаза, вдыхал этот абрикосовый дух, представляя себя летом под деревом в окружении цветов, и как будто потел от летнего зноя. В канун Рождества к нему шли соседи: «Дед, сушка есть?!» - «Есть.» - отвечал он весело. - Сколько тебе? Видать на пирожки?». И отсыпал сколько надо. Дома хозяйка, замачивая сушку, пробовала: «Ну и кислючая, зараза». Хозяин отвечал: «Этот старый дурак тебе хорошую что ли даст? Сахару добавь!». В этот момент деду наверное, икнулось. Но был он не мстительным, хотя зло и обиды помнил всю жизнь. Его цепкая, как хлыст память, не упускала ни одного случая, а плевали ему в его добрую открытую душу часто. Он недоумевал: «Ну сколько человеку добра не делай, он всё злей становится. Ну почему?» И вставал в мозгу совет матери: «Не делай людям добра - не будешь иметь зла». - «Ага, сама говорила, а всю жизнь прожила для людей».

«На твоих поминках ни один из соседей не встал и не сказал ни одного доброго слова в твой адрес!» Ему еще тогда, молодому, стало больно. Он оглядывал пьяные морды с набитыми ртами и думал: «Эх, мама, мама, всю жизнь прожила ты для них, не жалея порой последнего, а они?». И слёзы душили его. Быстрее хотелось уйти из-за стола. С какой-то пугающей осуждающей грустью смотрел он на всё и на всех. Всё объяснялось одним ёмким словом - неблагодарность. Так порой обдумывая, вспоминая былое, дед колол сушки.

Односкатные крыши его сараев расцвечивались оранжевой черепицей от уложенных на фанерки расколотых плодов. Вечером, когда спускались сумерки, и если было тихо, двор наполнялся этим неповторимым ароматом вяленой абрикосы, который витает две недели в году. Его стойкий запах держался до утра и убывал по мере высыхания сушек. Эти ночи дед спал тревожно, боясь, что спустится дождь и погубит сушки. Через три дня он

ласково веничком ссыпал готовые звенящие дольки в ситцевые мешочки, сшитые его матерью или теткой. И заполнял освободившиеся фанерки новым золотом. Работа радовала его, ни зной, ни мухи не могли омрачить эту великую радость труда. Так весело и радостно должен работать человек! - думал он. - И только от такого настроения будет толк, будет польза для всех!» Вообще дед любил людей, любил выпить, любил компанию. Вот и сегодня, в канун Петрова дня, он не изменил традицию, приготовил солянку сборную, мясную. Так он разговлялся после поста. Приходили гости, за длинным столом всех укрывала своим изумрудным плащом абрикоса, спасая от зноя. Припомнился такой случай. Прежде, чем усадить гостей, заведено было к этому дню освобождать дерево от плодов, бомбардировавших стол плодами. Они с сыном поднимались в крону и деревянными жердями сбивали урожай. Они били по раскидистым ветвям, а деду казалось, что лупят по его рукам. С листьями, с мелкими ветвями сбивались даже недозревшие плоды. Рано отнимаем детей!» - сокрушался дед. И вот она голая все-таки напоминала о себе. Может, это был последний на ней плод, но упал он уж дюже сочно. Во главе стола встал дед с рюмочкой сказать первый тост. Разлитая по нарядным тарелкам солянка красовалось томатом, усыпанным зеленью. Дед раскрыл рот и вдруг! Плод, сорвавшись из глубины кроны, смачно шлепнулся в тарелку гостьи, обдавая белую блузку томатной кровью. И без того неважное настроение гостьи сменилось яростью. Все всполошились, бросились застирывать, да тара вся занята, куда ни глянь - везде абрикосы. Как на устроителя и хозяина все шишки посыпались на деда, как плоды с дерева. Абрикосы вываливали на асфальт, они полетели всем под ноги. Все шпыняли их, давили, с ненавистью оглядывали крону, ища хотя бы один плод, но его не было. Дед виновато оправдывался, пытаясь загладить этот казус, но в усатой губе прятал свою улыбочку. Гостье принесли чистый халат. Многие весело чмокали: «Вот зараза, и точно же в тарелку, по месту, как в тире!» Попробовал пошутить и дед, но гостья пронзила его таким ненавистным взглядом, что ему стало страшно. В этот момент ему показалось, что он горит на дровах - этой

абрикосы. Дед умел держать удар и уже не шутя, мягко утешал гостью: «Ну, куплю я тебе новую блузку!» Но гостья уже почти рычала: «Да провались она пропадом, твоя жердёла!» - и чуть не добавила: Вместе с тобой!» Старуха, кряхтя, из-под ног гостей с сожалеющей виноватостью бережно совком и веничком подбирала плоды. Где теперь эти гости? Со временем исчезли из двора, растворились в жизни! Остался только стол и старая абрикоса. И дед под ней. Попыхивая папироской над фанеркой, колет по-прежнему плоды, утешает себя и дерево. «Теперь никому не навредишь!» Видя, что осталось последняя в пачке, он поспешил к магазину. По пути, хрустнув коленками, присел в тени, под забором и закурил последнюю. Через забор, на плечо спускались ветви молодой абрикосы. В траве нащупал плод, съел: «Вкус другой, и сколь их не будет, а вкус у всех свой, как у людей,» - заключил он. Вдруг калитка напротив открылась: вышла молодая толстая баба с полным ведром абрикос. Глядя на деда, как бы оправдываясь, пробурчала под нос: «Вот зараза, надоела: метешь, метешь.»- И размеренно стала высыпать плоды в колею дороги. Видимо, она это делала не раз. Колея промокла от сока и мякоти, превратившись в желоб грязного глинистого месива. Сверху по дороге спускалась легковушка. Медленно въезжали ее колеса в колею, смачивая и окрашивая шины по диски в золотой цвет, Деду казалось, что едут по его жилам, по его крови. Он любил крепкое словцо, но на этот раз буркнул про себя; «Все равно не поймут.» «Свинья ты, пузато-ленивая, золотом сорить, здоровьем своим!» - провожая ее жирный зад и грязные потрескавшиеся пятки в шлепанцах, возмущался дед. «Клад под ногами, эх, свиньи, свиньи вы под дубом. Ленивые, грязные свиньи! И как мужики живут с такими! Пойдет сейчас в тенечек брюхо належивать, а солнце уходит!» Дед свернул в колею. Горячими янтарными слезами абрикосы орошали засохшие края глинистой бровки, вмятые косточки просили пощады, как бы говоря: «За что? Или мы плохи, зачем растили, чтоб загубить?» «Свиньи,» - заключил еще раз дед. - «Не нужна, так спилите, не глумитесь над продуктом.» И зашагал по горячей улице, а она оранжевыми лентами сочилась янтарными ручьями,

везде гибли абрикосы - дети солнца.

Втоптанные в глину, ссыпанные в канавы, гибли тысячи солнц. Глядя на оранжевое изобильное убийство, истекающее янтарной кровью, грустил дед: «А дети Севера, а Сибири, они бы это видели!»

В магазине его спрашивали: «Что пропал, что тебя не видать? Дед с усталой гордостью отвечал: «Да, абрикоса же!» «А-а, абрикосы,»- сожалея, отвечали. Ну житья от них нет, как грязи в этом году!» И опять деду становилось грустно: грязь и абрикосы. Тут что-то не то. Люди и грязь, - это сойдет!» - думал дед. «Да чего ты, лезешь к людям со своими советами!» - укоряла его старуха.» Они твои что ли, жердёлы эти?» «И ты туда же, безмозглая!» И он шел под навес пропустить стопочку. В такие моменты он оставался один. Рядом - никого, только плоды напоминали, что они с ним своим смачным падением и верили, что он их не предаст, не смешает с грязью. Летом он по-настоящему жил, а вот зимой маялся без дела, скучал. Долгим зимним вечером любил заглянуть к такому же старику, если остался еще, и под рюмочку побалакать «про жизнь!» Друзей у него не осталось. Он не умел лицемерить, подхалимничать, лизать зад, как порой он выражался, мог резануть правду-матку в харю, прямо в рот, в глаза. Это делало его абсолютно непригодным к дружбе. «Если уж такая дружба, так провались она пропадом!» - в сердцах сокрушался дед. Хмельной не шумел, любил вполголоса спеть «казачью». Спал всегда чутко, слыша каждый шорох во дворе, часто выходил, закуривал и, сидя на корточках, слушал ночь. Когда в старых коленях начинало ломить, уходил в хату, долго не засыпая, перебирал в памяти ушедшие годы. В ночном дворе выл и гулял ветер, стонала скрипом старая абрикоса. В одну из таких вот зимних ночей дед умер. Умер он тихо, без единого стона или просьбы, не разбудив старухи, с улыбкой на усатой губе. Его железная терпимость не позволяла ему уделять время для себя. Это было у него от матери. Но природная ржавчина нашла - таки слабое место. Все говорили, не зная этого, что дед умер ни от болезни или старости, умер «на своих ногах» от одиночества. Все остались довольны, что он никого не мучил

и теперь не будет мучить своей непоседливостью.

Утром лег молодой снег, облепив нарядно все вокруг сахаристо-мучным пушком. Но, когда деда выносили, вдруг завыл ветер, срывая с ветвей и проводов белые хлопья. Они осыпали дешевый гроб, деда, людей и не таяли. От ветра стонала и гнулась старая абрикоса, сорванными белыми слезами осыпая, все вокруг. Она прощалась с дедом навсегда, но этого кроме него, никто не заметил, усастая улыбка затаилась в холодных губах. На поминках принято варить компот. Старуха пошла в кухню за сушками, где заботливыми руками деда выстояны были ситцевые мешочки. Золотые сушки зазвенели в ведре, многие - мимо. Собирая их, старуха вдруг опустилась на пол, заплакала, прижимая к мокрым глазам ароматные дольки. «Для себя, небось, сушил, есть-то кто будет?» - завыла она. Вдруг сердце ее обмерло, ноги обмякли, в ушах звон, в глазах ужас, после того как то ли из углов, то ли с потолка - внятный дедов голос тихо, успокаивающе прошелестел по кухне: «Не, бабка, люди будут поминать, не плачь, ступай, управляйся с Божьей помощью». Проходя в хату возле абрикосы, она слезно указывала ей на ведро с сушками: «Вот теперь, куда идет твоя сушка!» И снова завыла. Старая абрикоса, раскачиваясь своим могучими ветвями кивала ей вслед.